

Л.И.САРАСКИНА

«...ЧТОБЫ НЕ УМИРАЛА ВЕЛИКАЯ МЫСЛЬ»

Книга «Наследство Достоевского» написана тридцать пять лет назад: закончив ее, автор поставил дату — 1963 год, Страстная неделя. По одним причинам эта работа С.И.Фуделя не могла быть издана при его жизни (1900—1977). По другим в течение двадцати лет, прошедших после его кончины. Но в том, что исследование о Достоевском, принадлежащее перу человека такой страдальческой — даже на взгляд всего навидавшегося XX столетия — и поистине «достоевской» судьбы, наконец увидело свет, есть высшая и обнадеживающая справедливость*.

«Мне бы лучше оставаться со Христом» — так сформулировал свой духовный выбор Достоевский, едва выйдя из Омского острога. Но спустя полвека после того, как было запечатлено житие «Князя Христа» Л.Н.Мышкина и показаны трагические поиски веры героев-ставрогинцев, настали в России времена, когда исповеданию веры «со Христом» вернулся его первоначальный — раннехристианский — смысл. С.И.Фудель оказался одним из тех, кто всей своей жизнью подтвердил истину: *быть со Христом* — значит страдать вместе с Ним и за Него; быть с Ним — значит сораспинаться с Ним.

Теперь, когда жизненный путь С.И.Фуделя понемногу обретает известность за пределами узкого круга родных и близких (опубликованы письма и воспоминания самого Сергея Иосифовича, а также его сына, Николая Сергеевича), становится понятно, что он не мог не написать этой книги. Многими знаками судьбы он был обречен и своей Голгофе, и своей духовной свободе, но несомненно, что одним из самых зримых и внятных его опыту с самого раннего детства был знак Достоевского.

Он родился в Москве 13 января 1900 года в семье священника Иосифа Ивановича Фуделя. В недавно опубликованных «Воспоминаниях» (см. «Новый мир». 1991. № 3-4) Сергей Иосифович приводит слова архиепи-

* Книга С.И.Фуделя «Наследство Достоевского» вышла в издательстве «Русский путь».

скопа Тверского Саввы о своем отце: «Священник Фудель — интереснейший человек, внук немца заграничного, женившегося на русской, и сын православного по матери, но плохо говорившего по-русски. Окончил он курс в Московском университете по юридическому факультету, прослужил 3-4 года в Московском окружном суде, женился, съездил в Оптину пустынь два лета кряду и, с благословения почившего старца Амвросия, бросил службу, полгода учился церковным наукам в Вильне под руководством почившего архиепископа Алексия и рукоположен им священником в Белосток... Это мастер служения и замечательный проповедник».

Иосифу Фуделю (1864—1918) было всего четырнадцать лет, когда оптинского старца Амвросия посетил Достоевский; благословение на церковное служение от великого старца выпускник Московского университета (то же учебное заведение годами раньше окончил Иван Карамазов) получил через семь лет после смерти Достоевского. Отцу Иосифу пришлось воочию и на своем собственном опыте убедиться в невыдуманности одного из центральных «церковных» вопросов «Братьев Карамазовых» — о том, как трудно быть служителем Христовым в России 70—80-х годов, и о том, как чужд «миру» и большинству духовенства дух Оптиной пустыни. В письме 1890 года к К.Н.Леонтьеву, (с которым отец Иосиф познакомился в 1887 году и с тех пор был с ним близок), он писал: «Бываю я почти во всех интеллигентских семьях, и между тем, буквально не с кем душу отвести в разговоре. Все или «безмыслие», или «недомыслие», или узкая специальность, съевшая человека, или просто хамство» («Новый мир». 1991. №3. С. 194).

В 1892 году отца Иосифа перевели из Белостока в Москву — священником Бутырской тюрьмы. Младший современник Достоевского, родившийся через три года после выхода «Записок из Мертвого дома», прослужил в тюремной церкви пятнадцать лет; и он, а позже и его сын называли проповедь христианства среди заключенных службой в Мертвом доме.

В тюремной церкви, стоявшей в центре бутырских корпусов, и был крещен Сергей Фудель. «Я помню, как мы идем с мамой ночью в церковь по длинным праздничным половикам, расстеленным в тюремных переходах. Церковь была небольшая, в левом притворе стояла икона «Взыскание погибших», а в правом помещались во время службы арестанты: там был полумрак, высокое распятие с большой лампадой у лика Спасителя и слышался иногда перезвон кандалов». (Спустя годы, он попал в бутырский Мертвый дом вновь — теперь уже как арестант; из коридора, по которому заключенных водили на прогулку, двадцатилетний зэк Фудель мог видеть верхушку того самого кирпичного дома, где прошло его детство до семи лет. «Там был кабинет отца с твердыми черными креслами у стола, с портретами на стене: отца Амвросия в камилавке, Леонтьева, уже старого, в пенсне и шляпе, и моей матери в кокошнике и сарафане работы Ярошенко, маслом».)

Его первые детские воспоминания, как и первые детские радости,

были неразрывно связаны с монастырем, подарившим ему и первое чувство родины. Но опять же — это был не случайный монастырь. «Когда мне было пять лет, отец взял меня с собой в Оптину пустынь. В памяти остались безоблачные летние дни и крестный ход вокруг монастыря, кажется, на Казанскую, когда я почувствовал торжество праздника под голубым небом и среди полей. Есть особое чувство детского благополучия, когда «все хорошо» и «папа с мамой рядом». Вот это чувство живет у меня от этого крестного хода среди полей под широкий монастырский благовест». Лет за тридцать до пережитого мальчиком глубокого ощущения счастья было написано Достоевским: «Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек» (25; 172). Будто подтверждая правоту этих слов, С.И.Фудель почти через столетие ответит: «Как ни тяжелы для человека постигшие его страдания, но по какому-то благовому закону они постепенно рассеиваются в душе, и в ней неожиданно остаются — точно острова нетленной радости — только счастливые часы или минуты прошлого».

Среди особо драгоценных воспоминаний юности были — особый мир скита, дорожки среди цветов, деревянная церковь Оптиной и широкие калужские поля вокруг; густой еловый лес и болотистые канавы с незабудками близ Зосимовой пустыни, куда Фудели ездили всей семьей по несколько раз в год; кедровая толща Толгского монастыря, поразившего, однако, не святостью, но духовным оскудением: юношу Сергея Фуделя до самого сердца пронзила картина дачного обслуживания в монастырской гостинице, где низший монастырский персонал готовил дачникам обеды, а с пристани после краткого молебна уходили прогулочные пароходы по Волге. И он долго помнил фигуру иеромонаха в золотой ризе на фоне нарядных и равнодушных пассажиров: «Такая одинокая была эта фигура, так страшно было, что никому до нее нет никакого дела. Там ехали стареющие Вронские и еще жирные Климы Самгины, и какое им, в общем, было дело до этого благословляющего креста».

Молодость С.И.Фуделя совпала со временем, когда, по его ощущению, идея сбережения христианства в народе терпела сокрушительное поражение — Святая Русь умирала изнутри. Период перед Первой мировой войной был, напишет он в «Воспоминаниях», наиболее душным и страшным периодом русского общества. «Это было время еще живой «Анатэмы», еще продолжающихся «огарков» и массовых самоубийств молодежи, время разлива сексуальной литературы, когда Сологубы, Вербицкие, Арцыбашевы буквально калечили людей, время, когда жандармские офицеры читали о «розовых кобылках», а гимназисты мечтали стать «ворами-джентльменами», время, когда на престол ложилась тень Распутина, сменяющего архиереев и министров. Главная опасность этого времени заключалась в том, что даже лучших людей оно точно опаляло своим иссушающим ветром».

Все же на самого Сергея Фуделя веяли совсем иные ветры. Ему не пришлось погружаться в бездны декадентских соблазнов и, в юношеской

жажде новых впечатлений, гнаться за темными призраками демонического нового века. Для роковых искушений в душе его, более всего мечтающего о священстве, не оставалось места. Много лет спустя, размышляя о тайне благого влияния священника на людей, он припомнил высказывание Серафима Саровского: «Стяжи мир в душе, и тысячи вокруг тебя спасутся». Рядом был отец, и ярко светил в нем спасительный луч этого мира, к которому принадлежали и многолетний собеседник К.Н.Леонтьев, и друг недавний П.Флоренский; внутри круга мышления Флоренского, наблюдал Сергей Иосифович, люди чувствовали себя в такой же безопасности, как за метровой толщины стенами Успенского собора в лавре.

Внутри этих церковных стен, в кругу богословов и богоискателей, с которым успел благодаря отцу сблизиться Сергей Фудель, имя Достоевского почиталось как одно из главных. У С.Н.Дурылина (с которым С.И.Фудель познакомился ранней весной 1917 года), в его маленькой комнатке во дворе Обыденского переуллка над кроватью висела акварель Машкова: Шатов провожает ночью Ставрогина. Это была бедная лестница двухэтажного провинциального дома, наверху на площадке стоит со свечой Шатов, а Ставрогин спускается в ночь. «В этой небольшой акварели, — вспоминал С.И.Фудель, — был весь «золотой век» русского богоискательства и его великая правда». Вольно или невольно Фудель и его избранные собеседники читали и жили будто по нотам Достоевского и, конечно, ощущали себя все теми же русскими мальчиками, которые, едва познакомившись, жаждут знать друг о друге одно: «Како веруеши али совсем не веруеши». «Я, — пишет С.И.Фудель, — придя вечером (к С.Н.Дурылину), часто оставался ночевать, спать ложился на полу на каком-то старом пальто, и тогда начинались «русские ночи» Одоевского: долгие разговоры о путях к Богу и от Бога, все те же старые разговоры шатовской мансарды, хотя и без Ставрогина».

Уже шла Первая мировая война и маячила революция, но для русских юношей-богоискателей страшнее всего было видеть величайшее духовное неблагополучие Церкви, где стояли неверующие под видом верующих: оказывается, можно было числиться в Церкви, не веря в Нее, можно было считать себя православным, не зная Христа, можно было верить в посты и в панихиду и не верить в загробную жизнь и в любовь. Обман казался тем страшнее, что исходил не только от людей, пропивших веру в ночных кабаках, но и от добропорядочных, образованных русских граждан, зачастую имевших и общественный авторитет, и власть. И даже сан.

«Мы, русские, — писал в начале 1870-х годов Достоевский, — сильны и сильнее всех потому, что у нас есть необъятная масса народа, православно верующего. Если же бы пошатнулась в народе вера в православие, то он тотчас бы начал разлагаться... Теперь вопрос: кто же может веровать?» (11; 178). То есть: возможно ли православие не только для простолюдина, но и для человека просвещенного (а через сто лет, считал Достоевский, половина России просветится)? И мучил уже не во-

прос, а тяжелое сомнение, предвидящее невыносимую правду: «Если православие невозможно для просвещенного, то, стало быть, всё это фокус-покус, и вся сила России временная. Ибо, чтоб была вечная, нужна полная вера во всё... В этом — всё, весь узел жизни для русского народа и всё его значение и бытие впереди» (11; 179). В канун социальной катастрофы, перевернувшей Россию вверх дном, на вопрос Достоевского — не прочитанный, а как бы угаданный (автор «Бесов» сформулировал его в черновиках к роману) — рождался устрашающий ответ. «Весь узел» распался на глазах, и Апокалипсис, как написал, спустя годы С.И.Фудель, был не только в книгах, но уже и в комнатах.

Члены того легендарного Религиозно-философского общества (к которому Сергей Фудель приобщился в конце 1916 года), изучавшие теоретическую апокалиптику, искавшие — за чашкой пустого суррогатного чая при свете самодельных коптилок — религиозную правду по Леонтьеву, Вл.Соловьеву или Флоренскому, вполне обоснованно могли ощущать себя героями Достоевского, переместившимися из метафизического романного пространства в тесноту московских переулков. Персонажи «Бесов» или «Братьев Карамазовых», являясь реальными со-трудниками и со-вопросниками молодых богоискателей в их общих духовных устремлениях, служили некими символическими единицами измерения человека, ставшего свидетелем крушения христианского мира, и были универсальными ориентирами в самопознании русской религиозной мысли. «Помню, — записывал С.И.Фудель, — острые и умные статьи Булгакова, в частности о Достоевском, о котором он говорил лучше всех, сам представляя из себя точно сплав всех трех братьев Карамазовых. Но все-таки Алеши в нем было меньше, чем Ивана, и поэтому, в те годы во всяком случае, в нем было слишком много профессиональной публицистики. Сам себя он называл тогда Колей Красоткиным».

Русский апокалипсис, угаданный и описанный Достоевским, пришелся на молодость Сергея Фуделя. Вспоминая 1918–1920 годы, он благодарил судьбу за драгоценный религиозный опыт и за возможность воочию убедиться в реальности духовного мира. Спустя полвека, он писал о «предназначенной» эпохе высоким поэтическим слогом — как о времени скудости и богатства, темноты и духовного счастья. С нежной и горячей признательностью вспоминал он тех, кто помог ему пройти главные жизненные университеты и понять их сокровенную науку: может умереть европейская цивилизация, но вечно живет спасенный Христом человек, созидавая свою историю — и в катакомбах, и на просторах мира. Среди тьмы, в нищете и запустении, ему оставался видим «освященный своими огнями свободный корабль Церкви». Он навсегда запомнил тот исторический момент в судьбе России начала 20-х годов, когда у самого края уже открывшейся бездны бушевала весна: в Москве проповедовал Истину Павел Флоренский, в университете читал философские курсы Бердяев и еще было живо в Абрамцево аксаковское гнездо. Июльским рассветом 1922 года («цвели липы, и воздух был полон покоем и чисто-

той Божьего утра») просторы мира съежились до размера тюремной камеры. Наступало время катакомб.

Свой арест (С.И.Фудель понимал, что его выступления против живоцерковников рано или поздно будут стоить ему свободы) он воспринял — при всем драматизме происшедшего — как выход из духовного тупика. Ему был всего двадцать один год; в тюрьме, сначала предварительной, а через два месяца уже в Бутырках, можно было, по тогдашним патриархальным порядкам, целыми днями лежать на койке, уткнувшись лицом в стенку, а значит, оставаться с самим собой и с Евангелием, которое не отобрали при обыске. Именно там, в стенах Мертвого дома, родных с младенчества, где он принял крещение, принял он и свой Крест. Там он понял, что постигшая его катастрофа — это Божие возмездие. «Я понимал, что, когда верующий человек отказывается от подвига своей веры, от какого-то узкого пути и страдания внутреннего, то Бог, если Он благоволит его еще спасти, посылает ему страдание явное (болезни, лишения, скорби), чтоб хоть этим путем он принес «плод жизни вечной». С.И.Фудель принял решение, что, если и выйдет когда-нибудь из тюремных стен, то не посмеет более вернуться к своей прежней жизни и ее простым радостям, ибо при любви к Христу нельзя служить двум господам. «Это был кризис и выздоровление после долгой и тяжелой болезни молодости».

Выздоровление — кто бы еще мог этим словом обозначить тюрьмы, допросы, духоту и грязь камеры, этап до Красноярска среди уголовного сброда в товарняке, нескончаемые ссылки и лесозаготовки? — длилось тридцать пять лет, с малыми перерывами на фронт (он служил рядовым роты охраны при поездах, перевозящих боеприпасы, на Волховском направлении и под Сталинградом) и новое ожидание ареста. Вынужденно потратив половину жизни на возвращение к здоровью от сомнительных иллюзий молодости, С.И.Фудель имел право сказать, что тюрьма — это прежде всего школа общения с людьми, которое открывает истинный и очень простой жизненный смысл: «Стараться всегда и везде сохранять тепло сердца, зная, что оно будет нужно кому-то еще». В долгом обретении простых истин он, конечно, не мог не помнить опыта своего знаменитого предшественника по Мертвому дому с его страстной надеждой на воскресение и новую жизнь. Спустя много лет С.И.Фудель процитирует горькие слова омского каторжанина: «Несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил наконец это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал всё до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни» (4; 220).

Выдержав испытание насильственной («черной») соборностью («кругом были не Мити Карамазовы и даже не Смердяковы, а просвещенные

потомки Чернышевского, вежливо, но чуть презрительно поглядывавшие на попов»), молясь (порой тайком) среди темной толпы запертых людей, радуясь литургии, совершаемой над жестяной тюремной чашей на маленьком засаленном столике у окна камеры, С.И.Фудель смог подвести общий итог пребывания в Мертвом доме. Его «Воспоминания» завершаются словами: «Есть вера-обычай и есть вера-ощущение. Нам всегда удобнее пребывать в первой, каков бы ни был в нас этот обычай — бытовой или рациональный, как у сектантов. Обычай ни к чему духовно трудному нас не обязывает. Вера-ощущение требует подвига жизни: труда любви и смирения. И только она дает ощущение Церкви...» Этим добытым всей жизнью убеждением пронизаны и все написанные им работы.

В предисловии протоиерея Владимира Воробьева к «Воспоминаниям» С.И.Фуделя о его сочинениях (к числу которых относится и публикуемая книга), сказано: «Сергей Иосифович Фудель не писал церковную историю XX века, но был участником ее событий. Судьбы Церкви стали его жизнью. Революция, страшные и радостные годы церковного правления патриарха Тихона, трагическая церковная смута, катакомбная церковная жизнь — все эти пути были пройдены им. Он трижды сидел в тюрьмах, отбывал ссылки вместе со многими крупнейшими церковными деятелями, со многими мучениками. Он впитывал дух тихой, гонимой русской святости, на протяжении всей своей жизни подобно пчеле собирая ее крупички на быстро оскудевающих церковных полях. И этим подлинным духом наполнены его сочинения, что делает их столь драгоценными сегодня. Все, что писал Сергей Иосифович, проходило горнило его собственного духовного опыта, несет в себе свидетельство о духе времени и о Церкви» («Новый мир». 1991. № 3. С. 188).

В полной мере эти слова следует отнести и к «Наследству Достоевского». Как и остальные книги С.И.Фуделя (вышедшая в 1988 году в УМСА-PRESS работа «Об о. Павле Флоренском», «Записки о литургии и Церкви», «К.Леонтьев в его письмах к о. Иосифу Фуделю», «Славянофильство и Церковь»), исследование о Достоевском было написано после последней ссылки, окончившейся, как и у многих тысяч ссыльных, в 1956 году. Однако поселиться в Москве бывшему зэку С.И.Фуделю не позволял назначенный ему стокилометровый рубеж — и он вынужден был после долгих поисков найти себе приют во Владимирской области, в городе Покрове, где служил псаломщиком в единственной на весь город церкви. «Он читал в церкви, но ни там, ни до этого не принуждал никого ходить силой, нас, например, своих детей, повязанных узлом службы, режима, раздвоенности и т. п. Он просто ходил в храм и словно без слов приглашал и нас пойти, возвращаясь оттуда смиренно-радостным, не смотря на то, что все болезни семьи оставались без изменений», — вспоминал впоследствии его сын.

«Эта последняя часть его жизни, — пишет В.Воробьев, — была, как и вся жизнь, суровой и трудной. Постоянная нужда и болезни, постепенно

наступавшая слепота от глаукомы, оторванность от детей и близких сочетались с отсутствием продуктов, с топкой печи и ношением воды из колонки — словом, с обычным провинциальным русским бытом...» Не имея дома необходимых книг, он должен был совершать утомительные поездки в Москву, жить у знакомых, искать по библиотекам справочную литературу и запасаться впрок нужными материалами. По словам сына, «он был погружен в три стихии: в Церковь, борьбу за существование и в свои сочинения. Эти сочинения он до окончания никому не давал и не читал, и не распространял их сознательно: для него это было *вторым* делом после защиты от возможных ударов живых людей, своей семьи».

Почему же все-таки он, не литератор, не писатель, промолчав около шестидесяти лет, стал писать? Свидетельствует сын: в хрущевское время необъяснимым образом сначала поодиночке, а потом все гуще стала приходиться в Церковь, креститься молодежь, новая поросль христиан. «Тогда я увидел, как воспрянул отец, как потянулся им помочь — ведь многие из них хоть и крестились и шли на мучения ревностно, но часто блуждали не только в «проклятых вопросах», но и, казалось бы, в ясных, простых для отца путях жизни. Он хотел поделиться с ними трудным опытом и предостеречь».

Актом добротолубия и милосердной помощи для новообращенной православной молодежи из атеистических семей могла стать и книга о Достоевском — его пути к Христовой вере и к Церкви. В начале шестидесятых — в эпоху воинствующего атеизма и уничтожения церковью — такая книга, написанная без какой бы то ни было надежды на публикацию, предназначенная, если не в стол, то только для самиздата, могла укрепить слабых и просветить темных. Нет сомнения, что эту роль книга С.И. Фуделя «Наследство Достоевского» сыграла.

Автор замечательно мотивирует свое обращение к теме; оно целиком связано с его мироощущением — чувством истории и символом веры. Это чувство глубоко трагично: над миром стоит зарево ненависти и разъединения, искусство делается дорогой в никуда, из зияющего пролома в стене Церкви потянуло холодом смерти. «Вера уже давно в веках перестает быть трепетным чувством сердца, делом подвига жизни, делом личной Голгофы и воскресения. Все чаще и торжественней международные христианские съезды и все меньше Христа в истории», — пишет Фудель в первой, вступительной главе книги («Владычествующая идея»). Между тем, обращаясь к Достоевскому, можно увидеть в темном лабиринте такую нить Ариадны, что «лабиринт станет широким и безопасным путем». Фудель удивлялся, что многие из читателей Достоевского не знают, не умеют отделить основной христианский путь Достоевского от темных и трудных перепутей, от мрачных заблуждений, которые предшествовали этому пути, а порой и сопровождали его до конца.

Фуделя больно задевало стремление многих неверующих поклонников Достоевского затушевывать веру писателя, не замечать его ясной личной любви к Христу, живому и осязаемому. Атеисту обидно, что всемир-

но известный писатель мог верить и любить Христа, и потому образованный безрелигиозный человек всегда назойливо цитирует признание Достоевского о горниле сомнений, через которое прошла его осанна: горнило сомнений, дескать, было у Достоевского ярче осанны. Однако лучший ответ на подобный вздор Фудель видит в несомненном для него факте: укреплении веры у несовершенно верующих и обращении к вере множества неверующих людей через Достоевского. Как человек глубоко церковный, Фудель гораздо меньше, чем неофиты, боялся сомнений и противоречий, твердо зная, что у всякого истинного верующего его сомнения бывают ярче осанны, ибо в огне сомнений очищается золото веры. Что же касается качества, крепости веры, то Достоевский в этом смысле поставлен на высочайший пьедестал — ведь эта вера грешного и необузданного человека, чья жизнь была буря и беспорядок, оказывалась верой Голгофы, а не гуманизма, верой трагической, повторившей в себе евангельскую правду. «Христианство он воспринимал не как доктрину для добродетельного поведения, а как соучастие человека и человечества в жизни Богочеловека Христа, в Его смерти и Воскресении».

Почти вся литература о Достоевском — биографии, исследования поэтики и стилистики, работы о мировоззрении писателя и его «идеологических» романах, — созданная в 30–60 годы в России (то есть литература, к которой поневоле должен был обращаться Фудель, собирая материал для своей книги), написана не только по императивам атеистического времени с его партийными методологическими установками, но и людьми «окончательного безбожия», закоренелого воинствующего атеизма. Лучшие из исследователей, посвятивших себя Достоевскому, издававшие и комментировавшие его произведения, понимая, какой величины художник перед ними, великодушно «прощали» ему Христову проповедь и хвалили за гуманизм. С искренним воодушевлением зачисляли они творчество молодого Достоевского по революционно-демократическому ведомству и с неподдельным огорчением констатировали отход писателя от идеалов молодости. Политический консерватизм и почвенность зрелого Достоевского, его неприятия революционного бешенства и всяческой нигилистины были той самой костью в горле советского достоевсковедения середины столетия, которую невозможно было ни проглотить, ни выплюнуть.

Знакомясь с работами отечественных ученых, написанными с позиций марксистско-ленинского мировоззрения и классового подхода, Фудель, познавший истинную суть этого подхода в тюрьмах и ссылках, не мог не поражаться крайнему убожеству предлагаемых прочтений: ему казалось, что Достоевского не только обескровили, но и обессмыслили. Однако он почти не полемизирует с современными ему работами, а пользуется ими как сырьем, извлекая крупницы точных сведений и находя ссылки на неизвестные ему источники. Подлинными же вдохновителями и учителями Фуделя в его работе над наследием Достоевского явились те, кто были его учителями в жизни и кого он «живьем» слышал на мос-

ковских собраниях Религиозно-философского общества. Настоящей базой, фундаментальной методологией познания Достоевского Фудель считает Евангелие, труды отцов Церкви и жизнеописания святых: в них, и только в них, видит он ключ к сокровенным смыслам духовного подвига писателя и вершинам его творчества.

Через призму сердечного православия, проникнутый неугасимой любовью и верой-ощущением, воспринимает он мир Достоевского – будто запечатлевший живого Христа и переполненный состраданием к Нему – так же как и к любому другому страданию. «Чтобы хорошо писать, страдать надо», – сказал как-то Достоевский; и Фудель понимает эти слова в их прямом смысле, как несомненное доказательство христианского взгляда Достоевского на истоки своего творческого вдохновения. Так в книге Фуделя вырастает интереснейшая концепция *пути* Ф.М.Достоевского, который лишь в той степени был путем к художественным прозрениям, в какой он был путем ко Христу, со Христом и во Христе. Символ веры Достоевского, выраженный им в письме к Н.Д.Фонвизиной, где – в нарушение всех традиций богословской грамотности (как полагал С.И.Фудель) – звучала драгоценная истина о неразрывности веры в Христа и влюбленности в Него, стал в конце концов и принципом творчества. «И может быть, – восклицает Фудель, – еще придет время, когда в полном смешении человечеством добра и зла, в окончательном тумане лжи, неведения и новых божеств, утверждающих истину вне Христа, – кто-нибудь с великой радостью повторит именно эти негромкие слова: «Уж лучше я останусь со Христом, нежели с истиной».

Основополагающие истины христианства, считает Фудель, Достоевский старался – пока неумелой рукой – выразить уже в 40-е годы. И хотя его первый литературный период был, по мнению автора, временем угасания веры, грозившего ему также потерей таланта и вдохновения, «даже в эти темные годы в нем как-то сохранялся нерукотворный образ Христа». Сама судьба распорядилась, однако, чтобы роковые заблуждения юности, ад страстей и кошмар литературных фантасмагорий Достоевский, больной и измученный ложной дорогой, изживал в «живительной атмосфере обыкновенной, человеческой, русской тюрьмы».

Даже самые первые шаги литературной карьеры Достоевского обнаруживают, несмотря на литературное окружение, в котором само имя Христа было как бы изгнано из употребления, его глубокое и благородное волнение о духовной судьбе людей, живущих вне Христа. Именно это волнение стало, по мнению Фуделя, залогом совершенствования таланта Достоевского: начало было положено «Записками из Мертвого дома» с их прекрасными образами духовной красоты и смирения, а полный расцвет наступил в 1865 году, когда он начал «Преступление и наказание», заговорив о Христе открыто, не таясь и не боясь, что это может кого-нибудь покоробить и раздражить. Совпадение творческого расцвета Достоевского с открытой христианской проповедью – факт для Фуделя поразительный и очевидный.

В «Преступлении и наказании», показывает Фудель, Достоевский впервые сделал радикальный духовный выбор, противопоставив любовь ко Христу любви к человеку и решительно предпочтя первую второй. Обожание страдающего Христа, вновь и вновь распинаемого грехами людей, оказалось в «вечной Сонечке» сильнее, чем любовь к жениху, от которого она требует добровольного страдания и которого посылает на каторгу. Тем самым, считает Фудель, Достоевский объявил своей правдой не вообще религию, не нечто умильно-благородное, что часто выдается за христианство, а только христианство Голгофы. «На мировое искусство легла тень от Христа».

Достоевский не побоялся ввести в свой «криминальный» роман великую мысль — о том, что христианство — это не поэма, не красивая притча, а подвиг. Так пространство художественного произведения, напечатанного в Москве, во вполне светском «Русском вестнике», стало местом явления Христа в современности. Это было тем более удивительно, может быть, даже на грани чуда, что современность — исторический и культурный контекст середины XIX века — оказывала всемерное сопротивление сколь угодно серьезному разговору о допущении живого Христа в реальность жизни.

О Боге в этой реальности говорили вполне *comme il faut* и искренне приветствовали божественное присутствие, например, во время совершения молебна при закладке нового здания Государственного банка. Для современного Достоевскому интеллигента образы христианства, его святые и праведники, как правило, не переступали пределы школьных уроков Закона Божьего, равно как и все общество в целом вполне удовлетворялось внешней рамкой официального православия. Наверное, поэтому такая неудача постигла роман «Идиот», совершенно не понятый и не принятый современниками. «Все, что вы вложили в «Идиота», пропало даром», — писал Достоевскому Н.Н.Страхов. Комментируя это поразительное обстоятельство, Фудель замечает: «Основной факт романа в том, что не какие-нибудь там заблудшие нигилисты, а подавляющее большинство русского общества — генералы и генеральши, inferнальные купцы и сановники, англomanы и мелкие чиновники — все люди воспитанные, образованные и даже часто приятные, уж настолько потеряли представление о любви христианства и о святости его, что любящий святой мог быть для них только идиотом или, в лучшем случае, Иванушкой-дурачком».

Несомненным вкладом Фуделя в понимание Достоевского стало подробное и профессиональное освещение той роли, которую сыграли в творчестве писателя труды св. Тихона Задонского; понятно, что одной только филологической подготовки для этого было бы совершенно недостаточно. Великий обличитель русского общества в его ложной церковности, архиерей из Задонского монастыря Воронежской епархии Тихон стал, как утверждает Фудель, опорой творчества Достоевского. Его учение о вере и любви было необходимо Достоевскому, противопо-

ставившему истинное христианство христианству ложному. Учение Тихона и сама фигура святого старца стали для Достоевского антитезой демоническим, бесовским силам — ведь, если возможен Тихон, какой он явлен в реальности, значит, не ложно обетование Нового Завета о духовной непобедимости Церкви, значит, исторически осмыслена борьба за Христа с силами зла и ненависти, поглощающими Россию. Но высший смысл эта борьба приобретала потому, что не только не предполагала какое бы то ни было насилие, а возвещала всему миру о вселенской радости живой жизни. «Достоевский понимал, — пишет Фудель, — что христианство — это не курс догматического богословия, а только одно: пасхальная ночь на земле. И в том дерзновении и твердости, с которой он передает нам эту истину, его великая заслуга перед христианами нашей эпохи».

В мире Достоевского даже самый искренний в вере человек поставлен перед неразрешимой дилеммой, которая присуща христианству: верой в неумираемость Церкви и неверием в победу христианства в истории. Поэтому даже самые «христианские» его сочинения полны исторической безнадежности, чувства обреченности истории. Достоевского, как и старца Тихона, преследовала эта мысль, и он до боли настойчиво, почти маниакально ищет и находит доказательства иссякания христианства в пустынях истории. Вера требует элементарной дисциплины, работы, труда над собой прежде, чем над миром. Но эти понятия, являющиеся азбукой христианства, — режут ухо всякого интеллигента-атеиста. Ведь едва закончив «Бесов», получив личный творческий и духовный опыт одоления демонического соблазна, Достоевский на страницах черновиков к «Подростку» смог признаться себе: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его...» (16; 329). Глубочайший смысл, скрытый в трагической тайне человека, для которого уже нет света, нет исправления, то есть все напряжение исторического пессимизма в «Бесах» прочувствован и разгадан Фуделем. Одной фразой характеризует он христианский подвиг автора «Бесов»: «Во имя борьбы с ночью истории написан этот роман».

Но точно так же, как жило в Достоевском ощущение трагедии истории, жила в нем и вера в духовное здоровье человечества. Не раз он говорил о возможности «братского, окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону». «Мы не знаем, — пишет Фудель, — где содержится в Евангелии закон о гармонии земной истории. Христианин, если он не лукавит, и знает Евангелие, не может верить в духовное благополучие истории. Но он должен вполне верить в торжество христианского терпения этой истории, терпения около теплых стен Церкви».

Роман «Братья Карамазовы» Фудель называет путеводителем в Церкви для интеллигенции. Подробно раскрывает он борьбу Достоевского против затемнения лика Христа, против погружения веры в быт и обряд,

против обмирщения Церкви. Учение о Церкви, полученное Достоевским от оптинских старцев и Тихона Задонского, проверенное в библейском горниле Книги Иова, поразившей писателя еще в детские годы, помогло и самому Достоевскому. Ему надо было убедиться, пишет Фудель, что путь страданий его души в борьбе за Бога есть благословенный путь многих душ, есть путь Церкви — «Церкви не панлютеранских съездов и гуманистических деклараций, а Церкви подвига и стояния у Креста».

Искусство Достоевского после 1865 года Фудель рассматривает как целостное и глубочайшее переживание христианства. Литературное воплощение этих переживаний стало для автора «гениального пятикнижия» великим счастьем познания мира и человека, делом священной значительности — «работой Господней». Достоевский, осуществляя религиозную проповедь через искусство, по мнению Фуделя, исправил ошибку Гоголя, отказавшегося от искусства, так как понял, что защиту христианства он, Достоевский, должен вести наиболее доступным ему путем. Поэтому художественное творчество стало для него одной из форм религиозной жизни, «радугой над водами религии». Красота — загадка, но она может не противоречить Добру и Истине.

Объясняя тезис Достоевского о религиозном происхождении искусства («Тайна Христова»), Фудель предлагает свою интерпретацию понятия «нравственный центр» произведения искусства: это луч, открывающий среди ограниченного, тленного мира, мир иной и вечной реальности. В искании этого мира и состоит художественный замысел; «вся композиция произведения вращается вокруг оси — «да» или «нет» божественной жизни, «да» или «нет» вечности». Страстным и сердечным высказыванием Достоевский стремился хоть на единый исторический миг задержать образ Христа в холодеющем мире — и как отличается нервный, задыхающийся голос петербургского литератора от великолепия, неторопливости, грамотного спокойствия официальной церковной проповеди! «Достоевский точно ударами в сердце напоминает о Христе», — пишет Фудель.

Незадолго до смерти, в «Дневнике писателя» 1880 года, Достоевский заметил: «Да, конечно... настоящих христиан еще ужасно мало (хотя они и есть). Но почему вы знаете, сколько именно надо их, чтобы не умирал идеал христианства в народе, а с ним и великая надежда его?.. До сих пор, по-видимому, только того и надо было, чтоб не умирала великая мысль» (26; 164). В книге Фуделя это высказывание цитируется не раз.

О неумирании великой мысли молился молитвой девятого часа крестник тюремной церкви в Бутырках, бывший заключенный вечного русского Мертвого дома, автор замечательного и вдохновенного труда, посвященного Достоевскому: «Не предаждь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоя от нас...»